



Вероника Долина

ПОТАЙНЫЕ ЛАДЫ

Вероника Долина

ПО ТАЙНЫЕ ЛАДЫ



**Издательство «Лайда»
Москва 1996**

ББК 84Р7

Д 64

Художник
Владимир Медведев

Вероника Долина

Д 64 Потайные лады. – М.: Лайда, 1996. – 96 с.

ISBN 5 – 87632 – 048 – X

Эта книжка Вероники Долиной на три четверти составлена из новых стихов, а внимательное око распознает те, что написаны давно. Стихов, что “не поются”, здесь больше, чем прежде, зато есть некая “комедия дель арте” и опыт в прозе.

84Р7

ISBN 5 – 87632 – 048 – X

© Долина В.А., 1996 г.

© Медведев В.В., 1996 г.

*Помню, как-то ездили в Конаково.
Странно как-то ездили, бестолково.
Я не то чтобы была лишним грузом –
Но не так с гитарой шла, сколько с пузом.*

*Помню, вьюга хлопьями в нас кидала.
Публика нам хлопала, поджидала.
Пели мы отчаянно, как туристы –
Юмористы-чайники, гитаристы...*

*Не для обобщения эта форма.
Больше приключения, чем прокорма.
В именах и отчествах сельских клубов,
В маленьких сообществах книголюбов.*

*Вьюги конаковские, бути-вуги...
Чудаки московские, мои друти.
Никого подавно так не любила,
Самого заглавного – не забыла.*

*Помню, как-то ездили в Конаково.
Странно как-то ездили, бестолково.
Я на пальцы стылые слабо дую.
Господи, прости меня – молодую.*



Перебит меня старуша
За рукавчик шаровар.
Мы выходим, баба Груша,
На Рождественский бульвар.
Запахни мне туго шубку,
Обвяжи кашне не зря...
Ведь морозец – не на шутку
На седьмое января.

Не забудь меня, старуша,
Пригляди еще за мной.
С этой горки, баба Груша,
Соскользну я на Цветной.
Понесет меня, былинку,
Раскровившую губу,
То ли к цирку, то ли к рынку,
То ли в самую трубу...

Отведи меня, старуша,
На бульвар под Рождество.
Я зачем-то, баба Груша,
Не забыла ничего.
Не забыла, не забыла,
Не забыла, не смогла –
Как мне Сретенка светила
И Рождественка цвела.

И вот уже вхожу в такую реку,
Что самый дальний берег омывает,
Где человек прощает человеку
Любую боль, которая бывает.

Пускай река всему меня научит,
Пока плыву по этой самой глади,
Где человека человек не мучит.
Не может мучить, человека ради.

Хотя б коснуться берега такого,
Который мог покуда только сниться,
Где человек не мучает другого,
А только сам трепещет и казнится.

И ни челна, ни утлого ковчега...
Волна речная берег предвещает,
Где человек прощает человека,
Где человека человек прощает.

Дети мои спят у края, у берега,
Где йод, и смола, и музыка, и прачечная.
Ну, пусть. Пусть будет, как это у Бергмана –
Жизнь то мерцает, то начисто прячется.
И это, и это преддверие праздника,
Там ель проступает, а может – мерещится.
И папа – он праведник, праведник, праведник.
И мама – она грешница, грешница, грешница.

Дети мои очнутся, очухаются,
И в утробу запросятся, и займутся там играми.
И жизнь там увидят черную чудную –
Это зимнее небо с ярчайшими искрами.
И снова, и снова преддверие праздника.
Звезда за звездой между веток навешивается.
И папа – он праведник, праведник, праведник.
И мама – она не такая уж грешница.

Розовый палисандр,
Бархатная розетка.
Фанни и Александр –
Бабка моя и дедка.
Время обнажено,
Варево так клубится,
Что не исключено:
Сможешь, сможешь влюбиться.

Снег идет к небесам.
Ель озябла в охапке.
Фанни и Александр –
Дедки мои и бабки.
Вертят веретено
Голубь и голубица.
Будет, будет дано –
Сможешь, сможешь влюбиться.

Буквицы в пол-лица,
Строчные, прописные.
Фанни и Александр –
Это мои родные.
Ну и еще одно,
Звездчатая крупица...
За тебя решено:
Можешь, можешь влюбиться...

Туда меня фантомы привели,
Где нет, не ищет женщина мужчину...
Привиделись озябшие Фили,
Где я ловлю попутную машину,
Чтоб через четверть, может быть, часа,
Московское припомнив сумасбродство,
Внутри себя услышать голоса
Филевского ночного пароходства.

Туда ведут нечеткие следы,
Где люди спят и к сказочкам не чутки.
Где я у самой глины, у воды,
Приткнувшись лбом к стеклу какой-то будки,
Звонила, под собой не чуя ног,
Но знала – выход будет нелетальный.
Подумаешь, всего один звонок
От женщины какой-то нелегальной...

Так что ж, до самой смерти не права?
Весь город, как ладонь, уже изучен.
...Но выхватит судьба из рукава
Гостиницу в сети речных излучин,
Мужчину, прилетевшего с Земли,
И женщину, поверившую чуду...
Привиделись застывшие Фили –
В которых не была, не есть, не буду.

Мой Горацио, как ты горазд
Слушать пенье под звуки кифары.
Я уехала в свой Невинград.
Потушите, пожалуйста, фары.
Потушите, пожалуйста, свет,
Отраженный водой многократно.
Где была – там меня больше нет,
И едва ли я буду обратно.

Мой Горацио, ты ли не рад?
Ничего не успело случиться.
Я уехала в свой Невинград.
Облученный обязан лучиться,
А не мучиться день ото дня
Под чужими прямыми лучами,
Принужденно и жадно звеня
Сохраненными втайне ключами...

Мой Горацио, видишь ли, брат,
Всяк спешит совершить свое чудо.
Далеко-далеко Невинград.
Ни один не вернется оттуда.
Невинград, Невинград, Невинград –
Повторяю, – хоть это-то можно...
И заплакала, как эмигрант,
Над которым смеется таможня.

Я звоню тебе из Невинграда
Сообщить, что я еще жива.
В Невинграде – все, что сердцу надо:
И невиноватость, и Нева.
И моя премьерная простуда,
И моей гримерной суета.
Мне никто не позвонит оттуда,
Если я не позвоню туда.

Я себя сегодня постращаю,
Теплый диск покруче раскручу.
В Невинграде я тебя прощаю,
А в Москве, должно быть, не прощу.
Я звоню тебе сюжета ради.
Я жива, и тема не нова.
В Невинграде всё, как в Ленинграде, –
И невиноватость, и Нева.

Вот минувшее делает знак и, как негородская пичуга,
Так и щелкает, так и звенит мне над ухом среди
тишины.
Сердце бедное бьется – тик-так, тик-так, – ему снится
Пицунда.

Сердцу снится Пицунда накануне войны.

Сердце бьется – за что ж извиняться? У папы в
спидоле помехи.

Это знание с изнанки – еще не изгнание, заметь!
И какие-то чехи, и какие-то танки.

Поддень – это двенадцать. Можно многого не уметь.

Но нечестно высовываться. Просто-таки незаконно.
Слава Пьецух – редактор в “Дружбе народов”, все
сдвиги видны!

Снова снится Пицунда, похожая на Макондо.
Снова снится Пицунда накануне войны.

Сердце бьется, оно одиноко – а что ты хотела?
На проспекте Маркеса нет выхода в этом году.
И мужчина и женщина – два беззащитные тела
Улетели в Пицунду, чтоб выйти в Охотном ряду...

*Дважды была я на Пицунде:
в августе 68-го и в августе 92-го.*

Она над водой клубами.
Она по воде кругами.
Но я знала тех, кто руками
Ее доставал со дна.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая –
И только она одна.

Немилосердно скупая.
Немо-глухо-слепая.
Кровавая, голубая,
Холодная, как луна.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая –
Учу ее имена.

И верю в нее, как в рифму.
И верю в нее, как в бритву.
Как верят в Будду и Кришну
И в старые письма.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая –
И только она одна.

О тебе ни строка не пропета пока.
Не пропета еще, не пропета,
Оттого что примерзла моя рука
Там, у невского парашюта.

Я с тебя одного не спросила пока.
С прочих, знаешь, как строго спрошу-то...
Оттого что запуталась страшно рука
Между стропами парашюта.

И одною примерзшей своею рукой
И другою, прикрученной туго,
Я держу тебя крепко, мой дорогой,
Как и надо держать друг друга.

Счастливая сладкая басня,
Которую в детстве прочла.
Прощай, Вавилонская башня,
С которой я век прожила!
Все самые лучшие годы
Промчались, как ни назови.
Хотелось французской свободы,
Хотелось английской любви.

Мужчина рождается в рубашке,
А женщина с пальцем во рту.
Прощай, Вавилонская башня!
Прощаю тебе высоту.
Печальная пресная пена
Обломки твои приняла.
Та школьница пламенно пела
О том, чего знать не могла.

Возьму свое милое банджо
И тихо сыграю на нем.
Прощай, Вавилонская башня!
Нам было неплохо вдвоем.
Ну что же, что лучшие годы?
Они и твои, и мои.
Но Англия ищет свободы,
А Франция просит любви.

Когда надо мной затрубят херувимы,
Едва не касаясь моей головы –
Я, видимо, вспомню родные руины
От аэропорта до центра Москвы.

В золотой лунке, в сандаловой дымке,
В которую стих мой крыла окунал –
Покажутся Химки, и скроются Химки,
И я не успею увидеть канал.

Хрупки мои руки, тяжки мои вины.
Где шью – там тотчас и расходятся швы.
И снятся, и снятся родные руины
От аэропорта до центра Москвы.

Стеклянные вазы – странно! –
Из Вышнего Волочка,
Похоже, вышли из ванны
Прокисшего молока.

Какие нужны рассказы,
Когда по всему шоссе
Стоят расписные вазы
Во всей прописной красе?

Спросите с меня поостроже –
Люблю, была-не была,
Российское бездорожье,
Изделия из стекла.

Особенно если это
Какой-нибудь пустячок,
Как полный вышнего света
Стеклянный тот Волочек.

Друзья или сверстники, наверно, обидятся:
В который раз говорю не шутя,
Что лично я выхожу из бизнеса,
Видимо, так в него и не войдя.

На что мне эти былинные билдинги?
По мне, все это – мура, утиль.
И лично я выхожу из бизнеса,
И, может быть, в этом даже есть стиль!

Я в пятнадцать была Жанна д'Арк.
Ну не Гретхен, по крайней-то мере.
...С другом детства иду в зоопарк —
Тут, в Америке, милые звери.

А жирафа отводит глаза,
А горилла состроила рожу.
Мы хохочем — иначе нельзя.
Нам и не о чем плакать, Сережа.

Мы как были — такие и есть.
Пачка писем обязана ниткой.
Я — не новость откуда невесть,
Я давно тут стою, за калиткой.

А горилла тебе не гиббон.
Вот обнимет по случаю даты!
Вот тогда и пойдет расслабон —
И ура, и да здравствуют Штаты!

Смеркалось. Только диссиденты
Руками разгоняли мрак.
Любви прекрасные моменты
Не приближались никак,

Когда, помыслив хорошенько, –
Ни срам, ни пасквиль, ни донос –
Всемирный голубь Евтушенко
Письмо за пазухой принес.

Я над ответом хлопотала,
Письмо вертела так и сяк.
Но что-то в воздухе витало –
Один лексический пустяк.

Чего ждала – уж не команды ль?
Спаси меня и сохрани...
Но все твердили – Эмка Мандель,
И было отчество в тени.

Кого спрошу? Никто не дышит
В окошко дома моего.
И каждый пишет, да не слышит,
Крутом не слышит ничего.

Обременен нездешней славой,
Любимец всех концов Земли,
Наш письмоносец величавый
Исчез в сапфировой дали.

...На всякий случай, на пожарный,
Я в Шереметьево приду,
С цветами глупыми, пожалуй, –
Стоять в каком-то там ряду...

Смеркалось, да. Но, тих и светел,
Приемник голоса ловил.
Один Коржавин нас заметил
И чуточку благословил.

В 1983 г. меня нашло письмо Коржавина, а ответа я не написала тогда, – не знала, куда и как обратиться, не умела. Лет шесть назад я вдруг придумала этот стишок, а через неделю-другую Н.М.К. сошел с шереметьевского трапа. Все нашлись, все более или менее встало на свои места.

Добрая большая улыбка.
Ты одна такая на свете.
Смилуйся, государыня рыбка!
Мы твои безыскусные дети.

Мы тебе поверили крепко.
Ты одна, родная, на свете.
Смилуйся, государыня репка!
Мы твои безысходные дети.

...Вот она, огромная репа,
Или – колоссальная рыба.
Шумно дышит, смотрит свирепо.
Все равно – спасибо, спасибо!

Может, ты безгласная рыба.
Может, ты – безглазая глыба.
Мы – твои последние дети.
И за все – спасибо, спасибо!

Дорогой Василий Палыч!
Напишу-к я вам письмо.
А отправить не отправлю,
Оно отправится само.

Добродушно-злым, усатым,
Но с нездешностью уже
Помню вас в восьмидесятом,
В предотъездном кураже.

А потом – какого черта! –
Я залог и амулет,
Что вблизи Аэропорта
Ваш не вытоптали след.

Объясняться все мы слабы,
Как себя ни назови.
Ну послушайте хотя бы
Мои строчки о любви.

Дорогой Василий Палыч, –
Бормочу я невпопад, –
Ой, как я бы к вам припала
Этак двадцать лет назад...

А сейчас, Василий Палыч,
Вот написала вам письмо.
А отправить не отправлю —
Пусть отправится само.

*Это написано два года назад, — я давно не
верю ни в какие письма, а стишок вот написала
после встречи с Аксеновым в Вашингтоне.*

Уезжают мои родственники.
Уезжают, тушат свет.
Ни коржавины, ни бродские,
Среди них поэтов нет.
Это вот такая палуба.
Вот такой аэродром.
Ненадрывно, тихо, жалобно –
Да об землю всем нутром.

Ведь смолчишь, страна огромная,
На все стороны одна,
Как пойдет волна погромная,
Ураганная волна.
Пух-перо еще не стелется,
Не увязан узелок.
Но в мою племяшку целится
Цепкий кадровый стрелок.

Уезжают мои родственники.
Затекла уже ладонь.
Ни рокфеллеры, ни ротшильды, –
Мелочь, жалость, шелупонь.
Взоры станут неопасливы,
Стихнут дети на руках.
И родные будут счастливы
На далеких берегах.

Я сажу, чаёк завариваю,
Изогнув дугою бровь.
Я шаманю, заговариваю,
Останавливаю кровь.
Если песенкой открытою
Капнуть в деготь не дыша –
Кровь пребудет непролитою.
Неразбитою – душа.

На смерть А.Д.С.

Вся Россия к нему звонит,
Говорит ему "извините"...
Да конечно же, извинит.
Если можете – не звоните!

Вся Россия в дверях стоит,
Плачет пьяной слезой, калека.
Ну, опять учудил старик!
Ну и выкинул ты коленце!

Погляди любой протокол –
Там старшой уже все подправил.
Допотопный ты протопоп,
На кого же ты нас оставил?

Тут отравленная вода.
Там подходят филистимляне.
И рождественская звезда
Сахаристо блестит в тумане...

Молчи, скрывайся и тай...

Ф. Пютчев

Чертополохом поросли,
Скажу тебе на ухо.
Чертополохом поросли,
Сам черт теперь не брат.
"Не верь, не бойся, не проси" -
Так вот же вся наука.
Не верь, не бойся, не проси -
Все будет в аккурат.

Родимый край не так уж плох, -
То облако, то тучка.
Сплошная ширь, куда ни глянь.
Простор, куда ни кинь...
Полынь, полынь, чертополох,
Российская колючка.
Полынь, полынь, чертополох,
Чертополох, полынь.

Какая мразь ни мороси,
Какой дурак ни плясья -
Чертополохом поросли
До самых царских врат.

Не верь, не бойся, не проси,
Не уступай ни пальца.
Не верь, не бойся, не проси –
Все будет в аккурат.

Вот-вот махну “прости-прости”
Печально и потешно.
В конце тоннеля будет свет,
А за спиной порог.
...Вот так и выжили почти.
По Тютчеву почти что.
Не верь, не бойся, не проси.
Полынь, чертополох.

Чуть торопящиеся часы
Не тороплюсь торопить обратно.
Огни посадочной полосы
Все-таки видеть весьма приятно.

Вот так под вечер вернешься ты
Из самой-самой из всех Америк –
А он и выйдет из черноты –
Родной, расхристанный этот берег.

Да, он прекрасен, хотя и дик,
И может дикостью красоваться.
Но он всплывает, как Моби Дик,
И просит – больше не расставаться...

Чем глуше ночь – тем слаще грезы.
Чем солоней – тем веселей.
Но час от часу ярче розы
На рынках родины моей.

Усаты ушлые ребята
Наперебой и нарасхват.
Они ни в чем не виноваты!
Никто ни в чем не виноват.

Чем гуще стих – тем больше прозы.
Чем голос тише – тем страшней.
Все жарче полыхают розы
На рынках родины моей.

Блестят шипы, манят бутоны,
Благоуханье все нежней...
А сердца тоны-полутоны
Слышней, слышней, слышней.

Смотрю кругом – какие рожи!
Встряхнусь – зато какие души...
Иду от мясника Сережи
До парикмахера Андрюши.

Один себе радеет, дабы
Мясные разгрузались фуры.
Другого обожают бабы –
Он может делать куафюры!

А я живу как замарашка.
Душа везде торчит наружу.
И так доходит до маразма,
Пока не посетишь Андрюшу.

Потом едва дождешься часу,
Напялишь мятую одёжу
И, восклицая – мясо, мясо! –
Пойдешь разыскивать Сережу.

И я кустарь, конечно, тоже,
И цеховое не нарушу.
Люблю я мясника Сережу
И парикмахера Андрюшу.

Так покалякать по-советски,
Да и оттаять понемногу,
И голову держа по-светски,
И – волоча баранью ногу...

Нет, советские сумасшедшие не похожи на остальных!
Пусть в учебники не вошедшие, – сумасшедшее всех
иных.

Так кошмарно они начитанны, так отталкивающе
грустны.
Беззащитные подзащитные безнадежной своей страны.

Да, советские сумасшедшие не похожи на остальных!
Все грядущее, все прошедшее оседает в глазах у них.

В гардеробе непереборчивы, всюду принятые в
тычки...
Разговорчивые, неговорчивые, недоверчивые дички.

Что ж – “советские сумасшедшие”, ежели болтика нет
внутри?
Нет, советские сумасшедшие – не такие, черт побери.

Им Высоцкий поет на облаке. Им Цветаева дарит
свет...
В их почти человеческом облике – ничего такого
страшного нет.



Погляжу себе в глаза,
Раз не поглядеть нельзя.
Только что я вижу в дымке?
Там, на снимке – разве я?

Из какого полусна,
В полумраке у окна,
Там стоит, вполоборота,
И душа ее темна?

Из-за дальних ли границ,
Из-за давних ли страниц,
Но серебряная нитка
Пробегаёт меж ключиц...

Погляди же на меня.
Среди света, среди дня
Погляди без снисхожденья,
Не бея и не черня.

Это я, мой голубок.
Я гляжу не вниз, не вбок.
Я такой бываю редко.
Но бываю, видит Бог.

В таких, как ты, я ничего не понимаю.
Таких, как ты, еще не приводил Господь.
Не понимаю, как и обнимаю.
И все держу зажатую щепоть.
Каким таким, скажи, меня нездешним ветром
Снесло туда, где дуновенья нет?
Но вот же я – и миллиметр за миллиметром
Наш межпланетный движется сюжет...

Не можешь быть, как книга, с полки снят,
Не будешь ни подарен, ни потерян.
Был близок – стало быть, и свят.
И святость выше всех материй.

Не станешь перевернутым листом,
Ни скомканной, ни вырванной страницей.
Взойдя над запрокинутым лицом –
Ты, как и я, обязан сохраниться.

Ожидание – это чужое кино.
Обещание чуда – не чудо.
Как в кино, забери меня, милый, в окно.
Забери меня, милый, отсюда.

Сколько лет провела у стекла, у окна.
Да теперь это больше не важно.
Забирай меня, если тебе я нужна,
Поцелуй меня коротко, влажно.

Вероятно, иное иному дано.
Я нелепа, я слишком серьезна.
Окуни меня, милый, в кино, как в вино.
Окуни меня, если не поздно.

Выбирай мы друг друга и не выбирай,
Но должно было грянуть все это.
Забирай меня, милый, скорей забирай.
А не то – моя песенка спета.

Попил кровушки моей? До свиданья.
Нету музыки – разбилась пластинка.
От бездарного самообладанья
Пусть спасет тебя другая кретинка.

И все-таки: давай устроим провода.
Меж нами и года, и города.
Пускай ты – проволока, я – иду по проволоке.
Над всей Землею эти провода.

“Проси его, проси – давай попробуем”, –
Настойчивый какой-то шепоток.
Ты думал, я танцовщица на проволоке?
А я не женщина, я только ток.

Я только так, я только ток по проволоке.
Я самым зорким не видна глазам.
Твои малозначительные промахи
Задеть меня не могут – видишь сам.

И все-таки, чтоб не пропала пропадом
Живая человеческая нить –
Устрой мне провода взорвавшимися пробками.
И, если хочешь, можешь дальше жить.

В заброшенной сумке, качаясь в вагоне метро,
Случайно нашаришь усохший пенальчик помады.
И губы накрасишь – усталый вечерний пьеро,
Которого – нет, не дождутся его маскарады.

И вздрогнешь от горечи – жуткая жгучая слизь.
Возьмешься за горло, захочется кашлять и плакать.
Какие масла и какие добавки слились –
Взамен земляники прогорклая алая слякоть...

Пора тебе браться за дело.
Вот вода, вот хорошее сито.
Ты всем уже надоела,
Доморощенная карменсита.
Ты уже немолодая,
Чтоб петь про цыганские страсти.
Никакая ты не золотая.
Ты вообще неизвестной масти.

Задетая за живое,
Пройду по лезвию все же.
И вслед мне посмотрят двое,
Постарше и помоложе.
А что говорить про дело?
Об этом разные толки.
А я бы давно продела
Себя сквозь ушко иголки.

Мне стихи достались мукой, потому что вся родня
До сих пор одной наукой занималась у меня.

То, что шло за мною тенью – им моей казалось
ленью.

То, что ринулось бедой – им казалось ерундой.

Если жгло, ломало, гнало, им казалось – слишком мало
Для меня, капризной, вздорной, с черным глазом,
с челкой черной.

Огоньки вдали мигали, а меня опять ругали
За невежество мое, за житье и за бытие.

Мне стихи достались мукой, потому что вся родня
До сих пор одной наукой занималась до меня.

Все трудились, это верно. Беззаветно, беспримерно.
Но казались их труды им добычею руды.

А мои штрихи и миги, не стихи, да и не книги,
Не работы, не труды – не наделали б беды.

Если падало, крушилось, им казалось – совершилось
Наказание мое за дерзание мое!

Мне стихи достались мукой, потому что вся родня
До сих пор одной наукой занималась до меня.

Возвращайся к нам, дитя, – как могли, они манили...
Ты поймешь сто лет спустя, как родные правы были.

Если хочется – пиши красной краской, белым мелом.
Но при этом от души просим – занимайся делом!

О ученая родня... Жизнь меня еще научит.
И поймает, и намучит, – не волнуйся за меня.

И вот замираю в передней.
В Уфе, в Магадане, в Париже.
А вдруг, мой ребеночек средний,
Вернувшись, тебя не увижу?
Ничтожнее нет материнства.
Прерывистой нет постоянства.
Волшебно твое буратинство.
Фальшиво мое пуританство.

Угрюм, как затвор карабинный,
Мой промысел будничный трудный.
Но весел твой глаз воробьиный,
Такой антрацитово-круглый.
Мне нравится, что ты не ранний,
Хотя не привыкну, что средний.
По стольким ты признакам – крайний.
Едва не сказала – последний.

Я пишу стихи с музѳкою.
Ну и что же, что пишу?
Фыркаю, урчу, мурлыкаю,
Лапой за ухом чешу.

Что за часики без музыки?
Ну послушай, посмотри, –
Это не часы, а мумия –
Надо музыку внутри.

Я пишу стихи с музыкою,
Потому что так хочу.
Я чивикаю, чирикаю,
Клювом стрелочки кручу.

Если ты не толст, как лавочник,
И не прыток, как лакей –
То, пожалуйста, будь ласковым
К этой музыке моей.

Я пишу стихи с музыкою,
С самой нежной из музык.
Я беды еще накликаю
На дурацкий свой язык.

Мой застенчивый, запальчивый,
Мой голубчик, мой дружок!
У тебя дрожит за пазухой
На цепочке мой стишок.

В шапке похожая на чебурашку –
Я приношу благодарность барашку,
Шкура которого сделалась шапкой
В жизни моей неудобной и шаткой.

В шубе похожая на медвежонка –
Благодарю же тебя, о дубленка,
Шкурою гревшая страшную тушу –
Ныне одевшая грешную душу.

Мясо в кастрюле и мясо в судочке...
Птенчики чьи-то, сыночки и дочки...
Милые звери – и плотью, и кровью
Нашему хилому служат здоровью.

Переводит, переводит по строке.
Переводит, переводит по доске.
Руку дай, седой иль грузный человек.
Руку дай, седой и грустный прошлый век.

А пожатие прохладное твое –
Будто прошлое нескладное мое.
Это зыбкое качание доски –
Будто терпкое дыхание тоски.

Никогда тебя я не переведу,
На свою ли, на твою ли на беду.
Я забыл слова чужого языка.
Со своим хотел бы справиться пока.

Подожди меня еще у края рва.
У тебя же там и солнце, и трава,
И флейтисты у тебя, и трубачи, –
Подожди, помузицируй, не, кричи.

Я хочу перевести тебя, хочу!
Но беспомощно, бессвязно лепечу.
И в беспамятстве, в бессоннице, в бреду
Я и сам по той же жердочке иду.

Сам с собою, погоди, вот разберусь
И за прошлое, за прочее примусь.
Спи, чужак, покуда я не разбужу.
Я себе себя пока перевожу.

*Все-таки был момент, когда я
хотела заниматься переводами,
но все мешало, все противилось.*

Что рокочет, грохочет, гудит,
Будто молот кузнечный?
Ученик чародея чудит,
Ученик вековечный.

Он заветный открыл фолиант,
Он запреты нарушил.
И чистейшей любви бриллиант
Между строк обнаружил.

Он несчастные шепчет слова,
Чертит странные знаки.
И крылом ему машет сова,
Проплывая во мраке.

То он в книгу опять поглядит,
То на пальцы подует.
Ученик чародея чудит,
Он впервые колдует.

Час-другой на твое баловство
И – подвинься в сторонку.
И глядит чародей на него
Сквозь печную заслонку.

И хотел бы щадить – не щадит,
К черным чарам привычный.
Еще самый чуток почудит
Ученик горемычный.

Над судьбой Микеле Плачидо
Вся страна рыдает-плачет до –
Плачет до изнеможения,
Раскалив воображение.

Вот идет Микеле Плачидо
В итальянском скромном плащике.
Он всецело предан органам
И потому особо дорог нам.

О если б нам в масштабах всей страны –
Вот такие кадры в органы!
Над судьбой Микеле Плачидо
Вся страна рыдает-плачет до...

Челентано в черной “Волге” приглашает – прокачу!
Как ни странно, Адриано, но я с вами не хочу.
Наша жизнь – полночный ребус, повезет-не повезет.
Вот подъедет мой троллейбус, он меня и повезет.

Через дымку, через тайну, через пленку синема...
Как ни странно, Челентано, я от вас не без ума.
Я замерзла, я устала, я жалею ваш бензин –
Уезжайте, челентано, уводите лимузин!

Так-то полночью морозной в трех минутах от семьи
Я на площади Колхозной – как на краешке Земли.
Вот вам улица – катите, челентано и авто!
Я не то, что вы хотите, я не то, не то, не то!

Сюзанна, Сюзанна, мон амур...

Так Чикатило докатил до Шикотана,
Собрав вещички в два огромных чемодана.
А что лежало в чемоданчиках фанерных –
Не знаю точно, вероятно, не для нервных.

Ах ты, российская родная расчлененка!
Колотит каждого – от волка до ягненка.
Колотит всякого: от мерзлоты норильской
Через Якутию – и до гряды Курильской.

А что такое, что он сделал, Чикатило?
Ну, может быть, на человека накатило.
Он все по-тихому хотел, нормальный крззи.
Да мы такие самые в разрезе.

Ах, Чикатило, развлекайтесь как хотите!
Где вам понравится – там нас и щекочите.
Так размышляла я, истерики на грани.
И Жириновский появился на экране.

Я пела ночи напролет, я пела дни.
Я пела то, что всем поющим и не снится.
Но я не спела про Мишеля Платини,
Хотя давно душа моя к нему стремится.

Я пела яростно – кто так теперь сплет?
От этих песен холодок бежал по коже.
Но этот парень мне покоя не дает.
Сдается мне, мы как-то с ним похожи.

Мой голос стался, проникал в любую щель.
(Я в жизни – да, но в песне не переживаю...)
Но не слышал его заоблачный Мишель.
Не понимаю – но переживаю!

Так, значит, музыка моя – от сих до сих?
И, значит, прочее все выжжено и голо,
Покуда голос мой звенящий не достиг
Ушей звезды французского футбола...

Что если Алла Пугачева
Склонит Егора Лигачева?
Быть может, ей он по плечу?
Я познакомить их хочу.

Тут благородные седины...
Ей вроде нравились блондины.
Она его перепоеет,
Она его перекует.

А то ведь всяк его склоняет,
А он платформы не меняет.
Быть может, ей он по плечу?
Я познакомить их хочу.

Вот такой маленький цикл "Мои любимые мужчины". Дела давние, к тому же примкнули сюда несколько неожиданные персонажи...

А у меня есть дружок – проректор.
А захотела бы – был бы и ректор.
И ничего это не меняет
В окружающей темноте.
Доверяясь хорошим книжкам,
Я живу не своим умишком
И ищу себе авторитетов,
А находятся – всё не те.

Сердце просит теплого слова,
Но одна только А.Пугачева
Возникает опять и снова,
Как баобаб в среднерусском лесу.
Но могучий ее темперамент
Не тиранит меня, не таранит,
Не травмирует, как ни странно,
А поддерживает на весу.

В Подмосковье как будто живо
Золотое зерно наива.
И ищу я его и щурюсь,
Чуть словарик свой обновив...
А в пространстве опять и снова
Возникает А.Пугачева,
И разбиваюсь я с тихим звоном
Об могучий ее наив.

Куда девался распроклятый сахар?
Ну правда, он же только что был здесь.
Быть может, это чей-то шахер-махер,
Куда же он пропал так сразу, весь?
Не верю я, что наш же самогонщик
Скупил его, не пожалев спины.
Ну, килограммчик, тонночку, вагончик...
Но вряд ли все ресурсы всей страны.

Должно быть, затонул тот братский танкер,
Нежданная нагрянула беда –
И канул в море этот чертов сахар,
И в море растворился без следа!
Ой, где же штучный, искристый, пилёный,
Внакладку и вприкуску на зубок?
И где же тучный, импортный, хваленый,
Пушистый белокрылый голубок?

Наверно, в теплом Караибском море
Стоят сейчас груженные суда.
Я верю, очень верится, что вскоре
Они уже направятся сюда.
Плывут, плывут уже тугие баржи,
Минуя берега чужих Европ.
Вот стукнут раз часы на Спасской башне –
И ливанет обещанный сироп.



И вот походкой не московской
Идет себе по Маршалковской
И то и дело оставляет
Свой неприметный в мире след.
И не пойми его превратно,
Но он склоняется приватно
К тем магазинчикам приятным,
Где горит уютный свет.

Варшавский фокстерьер – не то, что наш.
Он и ухожен, и расчесан, и подстрижен.
Хозяйским ласковым вниманьем не обижен.
Не фокстерьер – а в рамочке пейзаж.

А я походочкой московской
За ним трушу по Маршалковской.
Поскольку я без провожатых –
Бреду за этим фоксом вслед.
И не пойми меня превратно,
Но я уже клонюсь приватно
К тем магазинчикам приятным,
Где горит уютный свет.

Варшавский фокстерьер – серьезный пан.
Не может быть, чтоб он гонял каких-то сявок,
Чтоб хмурых кошек выпроваживал из лавок,
Чтобы таил в себе хоть маленький изъян.

Он на цепочке на короткой,
А я за ним трусцою робкой...
Но вот закончились витрины,
И встал хозяин прикурить.
Толпа сновала и редела,
А я стояла обадело, –
Вот мой отель, а я хотела
Хоть с кем-нибудь поговорить.

Варшавский фокстерьер, ты тут в чести.
Так вот хочу тебе сказать – до зобачення!
Я чувствую – твое предназначенье
Меня с Варшавой коротко свести.

Назови меня пани!
Поцелуй мне пальцы.
Так нигде больше,
Так, как было в Польше.
Вот как это было.
Я бы все забыла,
Да не будет больше
Так, как было в Польше.

Помню все...

А мудреное пиво,
А чудные поляки,
Подающие исподволь
Мне какие-то знаки...
Пани есть французска?
Пани югославска?
И глядит фарцовщик
С потаенной лаской.

Помню все...

Не хочу просыпаться,
Не хочу возвращаться.
Никакого же проку
От меня домочадцам!

Все в себе обрываю,
Да что я ни затеваю –
Даже маленький шрамик твой
Я не забываю.

Помню все...
Забываю, но помню все.
Забываю, но помню все,
Забываю, но помню.
Помню все,
Засыпаю, но помню все,
Просыпаюсь, но помню все,
Не хочу забывать.

Все дело в Польше. Все дело все-таки в Польше.
Теперь-то ясно, из этого жаркого лета.
А все, что после, что было позже и после –
Всего лишь поиск того пропавшего следа.

Ну, от субботы до субботы,
Быть может, я и доживу, –
Дожить бы, милый, до свободы,
Да до свободы наяву.

Быть может, воздух? Рукой дотянусь – всё в шаге.
Да, это воздух – вон как меня прищемило.
А может, возраст? В прохладной сырой Варшаве...
Допустим, возраст. Но было смешно и мило.

Ну, от субботы...

Но как же Польша, где мы заблудились, Польша?
И этот поезд – на выручку и на вырост?
А все, что после, – то тоньше, гораздо тоньше.
Душа не врет, и история нас не выдаст.

Ну, от субботы до субботы,
Быть может, я и доживу, –
Дожить бы, милый, до свободы,
Да до свободы наяву.

Так вот, боюсь сорваться в страсть, как в прорубь,
В новейший глянец ласковой беды.
Но тот, кто был, кто пробовал, кто пробыв –
Запомнил вкус той ледяной воды.

Кто прорубь знал – особая порода.
Он как бы миру поданная весть,
Он только цифра памятного кода.
Он вышел, выпал, выплыл, да не весь.

Ну знал же, знал еще внутриутробно,
Что это будет, будет впереди.
Его трясет, в тепле ему ознобно,
И плещет прорубь в треснувшей груди...

Ежели забрезжило, –
Слушай, голубок! –
Чего хочет женщина –
Того хочет Бог.
Впроголодь да впроголодь –
Что за благодать?
Дай ты ей попробовать,
Отчего ж не дать?
Много ль ей обещано?
Иглы да клубок.
Чего хочет женщина –
Того хочет Бог.
Если замаячило,
Хочет – пусть берет.
За нее заплачено
Много наперед.
Видишь, как безжизненно
Тих ее зрачок...
Кто ты есть без женщины –
Помни, дурачок.
Брось ты эти строгости,
Страшные слова.
Дай ты ей попробовать,
Дай, пока жива!
Дай ей все попробовать,
Дай, пока жива.

Что, выдумщица, что ты натворила?
К чему сама себя приговорила?
Ты родинку себе под сердцем выжгла,
А ничего хорошего не вышло.

Хоть жги себя, хоть режь –
Ты не святая.
А выдумкой живешь, себя пытая.
Где родинка была –
Там будет ранка.
Атласный верх, да рваная изнанка.

Будь женщиной – они себя лелеют.
Они себя, любимую, жалеют.
Не рвут себя в клоки, не истязают.
На мелкие куски не изрезают.

Подумай, пожалей себя, довольно!
Порезаться, обжечься – людям больно.
Пой, выдумщица, пой их голосами.
Железная, с усталыми глазами.

Опыт говорит: бери дыхание!
Опыт говорит: имей терпение!
Это плавниками колыхание
Люди, знаю, называют – пение.

Легких пузырьков кругом роение
И кораллов стройное стояние –
Может, это только настроение,
А быть может, даже – состояние.

Жизнь кругом кипит, клубится, теплится.
Океан – вселенная зовущая.
Рыбина плывет, бока колеблются.
Рыбина поет. Она – поющая.

Вдали истаял контур паруса.
Просторы пусты.
И наступает долгая пауза –
Готова ли ты?

Судьба трепещет за пазухой,
Оплавив края.
А что там будет за паузой?
Готова ли я?

И вновь зовет и колышется
Зеркальная твердь.
И снова музыка слышится.
И пауза – не смерть.

На верхней полочке уже
Не хочется тесниться.
Но сколько говорят душе,
Любовь, твои ресницы...

Когда разучишь мой язык,
Ты, ласковый отличник,
Забудешь то, к чему привык,
И станешь сам – язычник,

Тогда смогу вздремнуть часок
И вспомню про хворобу.
Вот только выну волосок,
Опять прилипший к небу.

Приходи, пожалуйста, пораньше,
Хоть бы и мело, и моросило.
Поведи меня в китайский ресторанчик –
Я хочу, чтоб все было красиво.
Полетим ни высоко, ни низко
По дороге этой по недлинной.
Ничего, что тут не Сан-Франциско –
Я крылечко знаю на Неглинной.

Будь, смотри, с китайцами приветлив.
Я который день воображаю,
Что несут нам жареных креветок
В красном соусе, – я это обожаю.
Что китайцу стоит расстараться?
Пусть обслужит нас по полной форме.
Пусть покажется московский ресторанчик
Мне крупницей золотистых калифорний...

Понимаешь, я могу там разреветься.
Разведу ужасное болото.
Потому что знаю – раз креветки,
Раз креветки – стало быть, свобода!
И приди, пожалуйста, пораньше,
Если в кои веки попросила.
Поведи меня в китайский ресторанчик.
Надо, чтобы все было красиво.

Из подарков судьбы, украшений грошовых,
Чьих-то памятных писем, календарных примет –
Выбираю крыжовник, зеленый крыжовник,
Чрезвычайно неброский и непопулярный предмет.

Примеряя к лицу эту жизнь, эту участь,
Я бесчисленно морщусь и фыркаю. Но
Я ценю кислецу, уважаю колючесть,
Различаю под матовой кожей зерно.

Если можешь понять его – и шипы, и зелёность,
И непышные ветки, и недорогие плоды –
Так поймешь и меня – запечатанных губ
распаденность,
И дрожащие пальцы, и путанные,
и потайные лады...

В то время как я эту Землю обследую,
Хожу, прикрывая ладонью нутро, –
Дитя, которое знать не знаю, не ведаю,
Ведет себя странно, как студент в метро.

И топочет ногами, и смеется не мудрствуя,
То вытащит весла, то утопит корму.
Похоже, он слушает какую-то музыку,
Понятную только ему одному.

Но, видно, и музыка ему тоже наскучивает.
По каким-то таким часам он живет...
И тогда он меня, будто лодку, раскачивает,
И Земля вообще подо мной плывет.

И не то чтоб мужественно, не то чтоб женственно,
То ночь-заполночь – вот он, то ни свет ни заря...
Но в июне закончится мое путешествие,
Однажды начавшееся среди сентября.

Новый день занимается,
Задается легко!
В моем доме снимается
Королева Марго.

Не советские мытари,
Рыбы дети, рабы,
А прекрасные рыцари
На подмостках судьбы.

Что ж душа моя мается?
Все пройдет, ничего.
Ну и что, что снимается
Королева Марго?

Может, дело получится?
И в конце-то концов,
Может, страсти обучится
Пара-тройка юнцов...

О, как сердце сжимается...
О любовь, о тюрьма!
В нашем доме снимаются
Все романы Дюма.

Спи, любимый, не мучайся!
Жди хороших вестей.
Я участвую в участи
Неизбежной твоей.

*Это вовсе не образное,
а документальное: муж
действительно снимал
эту историю.*

Всех прикроватных ангелов, увы,
Насильно не привяжешь к изголовью.
О, лютневая музыка любви,
Нечасто ты соседствуешь с любовью.
Легальное с летальным рифмовать –
Осмелюсь ли – легальное с летальным?
Но рифмовать – как жизнью рисковать.
Цианистый рифмуется с миндальным.

Ты, музыка постельных пустыков –
Комков простынных, ворохов нательных –
Превыше всех привычных языков,
Наивных, неподдельных.
Поверишь в ясновиденье мое,
Упавши в этот улей гротесковый,
Где вересковый мед, и забытье,
И образ жизни чуть средневековый.

Ищу необнаруженный циан,
Подлитый в чай, подсыпанный в посуду...
Судьба – полуразрушенный цыган,
Подглядывающий за мной повсюду.
А прикроватных ангелов, увы,
Насильно не поставлю в изголовье,
Где лютневый уют, улёт любви
И полное средневековье...



Тихий зайчик

Сегодня перед работой успел забежать на почту. Из Казахстана опять ничего нет. По дороге в институт встретил Нину С. (не пишу ее фамилию полностью, чтобы не компрометировать) из отдела машиностроения. Узнал ее по платочку, кажется, немецкому, шелковому, а она так опустила глаза, протянула мне руку и сказала тихо: “Здравствуйте, Олег...”. Уже в дверях столкнулся с Аней К., и она, по-моему, рассердилась за то, что я пропустил вперед Нину.

Перед приходом Николая Семеновича успел просмотреть газету: доярки Тамбовской области перевыполнили полугодовой план на три процента, а сборщицы чая Чечено-Ингушской АССР – на десять процентов.

Пришел Николай Семенович и повесил свое шведское кожаное полупальто прямо надо мной, как всегда. Когда он отошел в сторонку, я сумел понюхать мятую кожу – ах, как она пахла...

Начальник дал мне пять папок и два письма (одно – из ФРГ) разнести по отделам. На площадке между вторым и третьим этажами курили Галочка П. и Рита З. (из каких отделов – не

помню). Подмигнул им. Разнес за день сорок одну папку и двенадцать писем. До метро шел с Зоей Р., а Тихонов из астрономии в своей замшевой итальянской куртке шел впереди.

Дома, как всегда, мама и бабуля. Мама послала меня за хлебом, а бабуля сказала, что не надо, она ходит сама. Но я сегодня не устал и поэтому сам ходил. Пообедали. Мама спросила, как я себя чувствую – я ответил, что голова не болит. Лег спать, как всегда, в десять – жаль, телевизора нет, – как там девушки из Чечено-Ингушской АССР?

Не успел сегодня до работы зайти на почту – нет ли чего-нибудь из Казахстана. В метро встретил Веру Константиновну из географии, сказал ей, что она похожа на весенний цветок. Она засмеялась и сказала, что мне никак не дашь тридцать шесть лет.

Поднимаясь в отдел, встретил Олю Ш. (из буфета) и Валентина М. (аспиранта). Он не стоит этой девушки.

Николай Семенович дал папку – отнести в химию. Я отнес, а по дороге немного поболтал с Антониной Артуровной, завотделом. Она меня спросила, как чувствует себя бабушка, а я сказал – хорошо, спасибо. Там у них в химии работает Лиля Б., замечательно красивая женщина.

Отнес две папки в биологию. Вошел, а девчонки захихикали и спросили, знаю ли я новость. Я спросил – какую. Они захихикали

громче, а одна (не помню, как зовут) сказала, что Галя вышла замуж. Я спросил их, кто эта Галя. Они совсем попадали на пол со смеху и стали говорить, как же это я забыл свою любовь.

Во второй половине дня заболела голова: это такое чувство, когда ломит сначала бровь, потом выше, и вот уже полголовы болит так, что больше я ничего не чувствую и вижу все, как в бинокль, если смотреть с обратной стороны, той, которая все отдаляет, а не приближает. От этого споткнулся на лестнице и уронил одну папку. Бумаги разлетелись, курившие на лестнице две девушки (я их не узнал) громко рассмеялись.

Николай Семенович отпустил меня домой. На улице стало немного легче, и я даже сумел по дороге зайти на почту. Из Казахстана опять ничего. Вот же скверные девчонки, как давно я написал им, поздравил с постройкой новой больницы. Они так мне понравились тогда на снимке в газете – в белых халатиках, симпатичные такие...

Дома бабуля сразу уложила меня и дала на лоб компресс. Я заснул, а когда проснулся, поклеил немного бумажные пакетики – последняя партия у меня уже кончилась. Перед тем как снова заснуть, думал о Гале, которая вышла замуж, но никак не мог вспомнить, какая же это Галя.

Утром голова не болела, и мама отпустила меня на работу. До прихода Николая Семеновича успел просмотреть газету. Завершена еще одна стройка в Сибири. Тотчас дал туда телеграмму: “Поздравляю наших замечательных девушек-тружениц знаменательным событием. Желаю успехов в труде и в личной жизни”. Девушки на почте смеялись. Одной из них, Люде, с огромными, как озера, глазами, я давно уже собираюсь сделать предложение. Но она только хихикает, когда принимает телеграммы и когда отвечает, что на мое имя нет ничего. Я все равно собираюсь сделать ей предложение.

Люба Н. курила на лестнице, когда я спускался в буфет. Хотел поговорить с ней, но она резко повернулась и прошла мимо, не очень тихо сказав “идиот”. Интересно, о ком это она так? Мне кажется, о ком-то, кто ее обидел. Если бы знать, кто он, этот негодяй!

В буфете все как будто обрадовались мне. Очередь, правда, не уступили. Зато по столикам прошел шепот: многие девушки наклонились к подругам и, показывая на меня глазами, стали говорить что-то. Кассирша Дарья Васильевна, замечательная женщина, только немного полная, спросила меня ласково так: “Ну что, Олег, как всегда – котлеты с картофельным пюре и кисель?” Я ответил, что да.

В отделе сказал девушкам, что, может быть, женюсь. Они этому очень обрадовались, много смеялись, расспрашивали. Но я сказал, что у меня мало времени, и убежал. Хорошие все-

таки девушки – как обрадовались! Что ж, сделать Люде предложение?.. Я еще бежал, когда чуть не столкнулся с товарищем Кустинским, секретарем партийной организации. Он мне сказал ласково: “Все бегаете, Шестаков? Ах, вы наш... тихий зайчик!” Тоже замечательный человек. Надо будет у него обязательно попросить дыхание.

Вчера вечером приводил в порядок свою коллекцию дыханий. Одно удовольствие смотреть на аккуратные, со всех сторон заклеенные белые конвертики. И на каждом имя и фамилия: почти все Галочки, Олечки, Анечки нашего института. Есть тут и Николай Семенович, мой начальник. Я это так делаю: подношу ко рту нужного мне человека пакетик и говорю: “Дохните, пожалуйста”. Некоторые из мужчин даже обижались сначала – думали, я говорю “дыхните”. Потом все привыкли и иногда только улыбаются, если видят, что я останавливаю кого-нибудь и прошу дохнуть в мой пакетик. Дома у меня уже почти целая книжная полка занята конвертиками с дыханиями.

Никаких замечательных событий сегодня не произошло, кроме одного: Сергей Искандерович Камалов, завотделом математики, пришел наконец в своей знаменитой дубленке. В прошлом году он лишь несколько раз появился в ней, потому что приехал из Канады только в апреле. Это удивительная дубленка – цвета кофе с молоком, с большими белыми отворотами.

После заболела голова, но был уже конец рабочего дня, и я не стал отпрашиваться. Надя Г., наша секретарша, прощаясь со мной на выходе, подала мне руку в шерстяной перчатке и сказала серьезно: “До завтра, Олег...”. Замечательная. Ее дыхание, наверное, уже месяц стоит в моей коллекции.

По дороге домой мне встретились солдаты строительного батальона. Они шли строем и дружно пели песню. Кажется, я уже где-то это слышал: там часто повторяется строчка “через два года...”. В общем, солдатская песня. Да, там еще есть “поломаю шею, разобью морду...” и “мы с тобой поженимся...”. Где-то я это слышал. Надо сделать предложение Люде с почты.

Бабуля положила мне на лоб компресс, а голова уже почти не болела.

Рабочий день, последний день этой недели, начался хорошо. Выходя из метро, я увидел впереди себя знакомую дубленку С.И.Камалова. Я не стал его обгонять, а всю дорогу до института любовался изящным разрезом сзади, приоткрывающим при каждом шаге нежное меховое нутро...

На нашем этаже стояли и курили Валя Г. из ботаники и новая девушка. Я не всех помню в нашем институте, но сразу понял, что девушка новая. Она так смутилась, пожимая мне руку и называя свое имя... Я, правда, его не запомнил, оно было сложное – Виолетта или Элеонора, кажется. Хорошая девушка.

Сегодня день зарплаты, и за мной, как всегда, пришла бабуля. Она получила деньги и зашла в отдел. Я попрощался со всеми и пошел за бабулей, но вспомнил, что не простился с новенькой девушкой. Побежал наверх, но не нашел ее, а нашел эту Валю Г., которую утром видел с ней. Спросил у Вали, как ту девушку все же зовут – она сказала, что Катя. Спросил еще у Вали, сколько лет Кате. Сказала, что девятнадцать.

Я догнал бабулю на улице, пошел с ней рядом. Девятнадцать лет. А вот я как-то слышал, как мама говорила бабуле: “Хоть бы десятку прибавили, ведь он девятнадцать лет у них работает”.

Девятнадцать лет? Ну, сам-то я этого не помню.

День сегодня совершенно особенный! Первое – Николай Семенович после обеденного перерыва подошел ко мне (какие же у него пуговицы на блейзере!) и сказал: “Награждаю вас, товарищ Шестаков, за хорошую работу” – и вручил мне замечательный значок “БАМ”. Все наши девушки засмеялись и захлопали. Было очень приятно.

Второе – самое главное. Я получил письмо из Краснодарского края. Девушка Раиса Мишутина – 29 лет, трактористка совхоза “Советский труженик”, пишет, что хочет со мной дружить и переписываться. Я хорошо помню, что два месяца назад поздравил ее с перевыполнением

нормы на двенадцать процентов. Но ответа от нее не ждал, так как снимка ее в газете не было, а я как-то не представлял ее себе без снимка.

Я очень, очень обрадовался письму. Вечером рассказал о нем маме и бабуле. Мама с бабулей переглянулись, а бабуля сказала: “Ну, что ж, и хорошее дело”.

Еще в том же письме Рая приглашает меня приехать погостить, а заодно, пишет, и познакомимся. Очень хочу поехать. Попрошу завтра у Николая Семеновича неделю за свой счет – это ведь в первый раз, неужели откажет?

Николай Семенович не отказал, только, кажется, очень удивился. Сказал: “Что вы, Олег, разве захворали, вы ведь любите быть среди людей?” Я ответил ему небрежно так, но чтобы девушки слышали: “Спасибо, я не заболел, а наоборот, еду жениться!” Какая тишина стояла в комнате – замечательно.

Только вот беда – мама, конечно, не отпустила меня одного к Рае, и сейчас мы вместе с ней мчимся в Краснодарский край. Купе у нас очень хорошее, из окна я весь день смотрел на леса и поля и другие просторы нашей необъятной Родины. Проводница принесла нам горячий чай, и мы попили чай с сахаром и бутербродами, которые мама взяла, конечно, с собой в дорогу. Потом по вагону прошла женщина, и в корзине у нее была масса всяких вкусных вещей. Мама купила мне шоколадку – я очень

люблю шоколад. Еще я попросил ее купить шоколадку для Раечки, мама вздохнула и купила самую красивую – “Дружок”. Скоро уже мы приедем. Рая написала, что встретит нас на платформе. Завтра утром проснусь – и сразу Рая... Вспомнил Лилю Б., – очень красивая женщина. А вдруг и моя Рая такая? Такой красавицы я не достоин, конечно, но я знаю – все равно Рая красивая. Она непременно согласится выйти за меня замуж, мы с ней приедем домой, все будет замечательно! То-то будет рада бабуля... А девчонки в институте все попадают со своих лестниц, где они целый день курят.

Я еду в новом костюме в полоску, на лацкане значок, что подарил мне Николай Семенович.

Рая встретила нас на вокзале. Она оказалась совсем такой, как я ее представлял: русые волосы и глаза немного с косинкой, это придает ее лицу лукавое выражение. Мы с ней поздоровались за руку. Устроились очень хорошо, у Раиной мамы. Рая весь день была на работе, а вечером мы с ней пошли в кино. Смотрели “Пламенную любовь”. Может быть, и нас ждет это светлое, настоящее чувство?

А после фильма Раечка пожаловалась на головную боль. Рассказала, что это у нее с тех пор, как, перевыполняя норму на двенадцать процентов, она получила сразу два солнечных удара. Мне так ее стало жалко, что я сразу сделал ей предложение. Она тут же согласилась.

Жаль только, что она чуть-чуть косит и поэтому все время как будто смотрит в сторону. Весь вечер мы проговорили с Раей – очень интересно. Она рассказывала о замечательных финских сапожках их бригадира Клавы Ткаченко, а я ей рассказывал о дубленке товарища Камалова.

Я спросил маму, как ей понравилась Рая – мама сказала, что понравилась.

Через три дня мы все вместе поедем домой, к бабуле.

Рая оказалась именно той девушкой, о которой я мечтал. Бабуля полюбила ее как родную. Когда мы все вместе вошли в прихожую, бабуля посмотрела на Раю, всплеснула руками и даже всплакнула на радостях. Потом вздохнула и говорит: “Ну, что ж это я плачу? Два сапога – пара. Живите, детки, счастливо”. Через два дня мы тихо отпраздновали нашу свадьбу. На Рае было розовое платье, я надел костюм в полоску. Все выпили шампанского, а мою рюмку Раечка накрыла рукой и сказала, что сегодня мне не надо. Конечно, я не стал спорить – зачем же омрачать ей такой чудесный вечер? Мама и бабуля очень радовались. Бабуля все хотела плакать, но мама ее останавливала и говорила: “Ничего, ничего, мамаша, все образуется...”.

На следующий день я пришел на работу в новом костюме. Николай Семенович спросил сразу: “Ну, как ваши дела, Шестаков?” Я небрежно так ему ответил, но чтоб девчонки слы-

шали: “Да вот, женился, Николай Семенович, на замечательной девушке – передовой трактористке, в газетах писали – может, знаете такую фамилию – Мишутина? Только теперь ее фамилия Шестакова!” Тут я не выдержал, схватил со стола папки и побежал – сначала в отдел математики – рассказать обо всем товарищу Камалову, ну и девчонкам из биологии, химии, географии и всех других отделов. Забежал еще в партийную организацию к товарищу Кустинскому. Он очень, очень за меня порадовался.

Вот какой это был праздничный день. Когда после обеденного перерыва я поднялся в отдел, на столе Николая Семеновича меня ждали: большая кукла в коробке, торт, цветы. Какие все прекрасные, душевные люди – у всех ли я взял дыхание? И когда только они успели это все приготовить? Девушки все пожимали мне руку и говорили: “Поздравляю, Олег”. А секретарша Надя Г. даже поцеловала меня в щеку.

Домой пришел нагруженный подарками. На почту по дороге не заходил – некогда, и не напишут мне из Казахстана, наверное. А Раю мы пока устроили работать в магазин “Овощи-фрукты”, это в соседнем доме.

Прошел почти год с тех пор, как я женился. В институте за это время не произошло почти никаких событий. Немного, правда, поистерлась канадская дубленка товарища Камалова, зато замечательный плащ из джинсового материала привез себе из Японии товарищ Кустинский.

Несколько девушек из разных отделов вышли замуж. Николай Семенович подарил мне два очень красивых значка – “Космос” и “Русская зима”. “Русскую зиму” я, конечно, подарил Раечке.

Два месяца назад произошло самое лучшее в моей жизни – у нас с Раей родился сын. Я назвал его Эрнестом в честь писателя Хемингуэя. Бедная Раечка тяжело переносила беременность, ее милые глазки стали косить еще больше. Но теперь она счастливая мать и прекрасна, как все женщины-матери.

Николай Семенович, поздравляя меня, сказал проникновенно: “Вот и у вас, Шестаков, появилось потомство. Это прекрасно. Будет кому продолжать наше общее дело”. Девушки подарили четыре погремушки и два чепчика из фланели – голубой и сиреневый.

Когда маленького Эрнеста принесли домой и развернули, бабуля расплакалась от счастья – ведь это ее правнук. “Паучок, как есть паучок”, – приговаривала она, качая на руках запеленутого Эрнестика.

Я очень счастлив, потому что у меня теперь есть сын. Может быть, я даже самый счастливый человек на свете. У него по шесть пальчиков на каждой ручке и оба глазика совсем скошены к переносице – ну и что же? Это отличный крепкий мальчишка, и я его обожаю.

1975

Содержание

“Теребит меня старуша...”	5
“И вот уже вхожу в такую реку...”	6
“Дети мои спят у края, у берега...”	7
“Розовый палисандр...”	8
“Туда меня фантомы привели...”	9
“Мой Горацио, как ты горазд...”	10
“Я звоню тебе из Невинграда...”	11
“Если б знать, если б можно заранее знать!..”	12
“Вот минувшее делает знак...”	13
“Она над водой клубами...”	14
“О тебе ни строка не пропета пока...”	15
“Счастливая сладкая басня...”	16
“Когда надо мной затрубят херувимы...”	17
“Стеклянные вазы – странно!..”	18
“Друзья или сверстники, наверно, обидятся...” ...	19
“Я в пятнадцать была Жанна д'Арк...”	20
“Смеркалось. Только диссиденты...”	21
“Добрая большая улыбка...”	23
“Дорогой Василий Палыч!..”	24
“Уезжают мои родственники...”	26
“Вся Россия к нему звонит...”	28
“Чертополохом поросли...”	29
“Чуть торопящиеся часы...”	31

“Чем глуше ночь – тем слаще грезы...”	32
“Смотрю кругом – какие рожи!..”	33
“Нет, советские сумасшедшие...”	35
“Погляжу себе в глаза...”	37
“В таких, как ты, я ничего не понимаю...”	38
“Не можешь быть, как книга, с полки снят...”	39
“Ожидание – это чужое кино...”	40
“Попил кровушки моей? До свиданья...”	41
“И все-таки: давай устроим проводы...”	42
“В заброшенной сумке...”	43
“Пора тебе браться за дело...”	44
“Мне стихи достались мукой...”	45
“И вот замираю в передней...”	47
“Я пишу стихи с музыкою...”	48
“В шапке похожая на чебурашку...”	50
“Переводит, переводит по строке...”	51
“Что рокочет, грохочет, гудит...”	53
“Над судьбой Микеле Плачидо...”	55
“Челентано в черной "Волге"...”	56
“Так Чикатило докатил до Шикотана...”	57
“Я пела ночи напролет, я пела дни...”	58
“Что если Алла Пугачева...”	59
“А у меня есть дружок – проректор...”	60
“Куда девался распроклятый сахар?..”	61

“И вот походкой не московской...”	63
“Назови меня пани!..”	65
“Все дело в Польше...”	67
“Так вот, боюсь сорваться в страсть...”	68
“Ежели забрезжило...”	69
“Что, выдумщица, что ты натворила?..”	70
“Опыт говорит: бери дыхание!..”	71
“Вдали истаял контур паруса...”	72
“На верхней полочке уже...”	73
“Приходи, пожалуйста, пораньше...”	74
“Из подарков судьбы, украшений грошовых...”	75
“В то время как я эту Землю обследую...”	76
“Новый день занимается...”	77
“Всех прикроватных ангелов, увы...”	79
Тихий зайчик. <i>Рассказ</i>	81

Вероника Аркадьевна Долина
Потайные лады

Редактор В.Щербакова
Корректор Н.Рязанова
Компьютерная верстка Е.Малёлина

ЛР № 060243 от 30.09.91. Подписано в печать 15.02.96. Формат 70x100^{1/32}.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Балтика». Усл.печ. л. 3,22.
Уч.-изд. л. 3,8. Тираж 3 000. Изд. № 048. Заказ 1905

Издательство «Лайда», 123808, ГСП, Москва, Садовая-Кудринская, 11.
Тел. (095) 252 70 78, 252 75 61

Отпечатано на Чеховском полиграфическом комбинате
142300 г.Чехов Московской области. Тел. (272) 71 336 Факс (272) 62 536

